

© 1995 г.

В.Д. ОЗМИТИН

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ?

Вопрос о реальности модернизации в России по какой-то причине выпадает из поля зрения отечественных социологов. Между тем, мы уже не один год живем под знаком трансформации, переживаем, подчас эмоционально (кто же останется равнодушным, когда в Москве стреляют танки), серии метаморфоз системы, поведение которой напоминает феномен «странного аттрактора». Трудно зафиксировать в сознании хотя бы одно, но устойчивое ее положение. Даже астрологи опасаются предсказывать что-либо на этот счет.

И все же социологической мыслью давно выработаны определенные теоретические конструкции, которые в принципе полезны для ответа на данный вопрос. Имеются аналитические средства для выявления напряженных, кризисных, бифуркационных ситуаций на пути модернизации. Может быть, они хороши только для истории Запада или отдельных развивающихся стран, а для российских условий не пригодны? Оживленно обсуждаются в различных изданиях темы предпринимательства, формирования политических элит, экономических тенденций. Однако порой кажется, что речь идет о мнимых величинах, о несуществующих, воображаемых вещах, как в рекламном ролике. Почвы для серьезного разговора не ощущается: игра, наподобие «Пирамиды Ма-

вроди», игрой и останется, как и марш-бросок на 500 дней. Хотя, впрочем, есть более осязаемые эффекты модернизационной игры, осязаемые, правда, для обыденного сознания, а не для доктринального или теоретического. И это понятно, ведь жизнь строится обыденно, а не по теории.

Все прекрасно помнят шоковое время 1992 г., когда испарились сбережения в госсберкассах. Этот процесс до сих пор стараются назвать шоковой терапией, хотя шока в социально-экономическом смысле не произошло. Просто трудяга, оглядевшись, подумал про себя: «Опять грабанули». Банковские бумажки не исчезли в дым, а пошли в оборот с отдачей у тех, кто успел притовариться. Заметьте — у немногих. Плохого мало, если процветает торговля — двигатель прогресса, если банки умудряются нечто давать в кредит, в дело. Тогда существовал еще экономический потенциал для крутых виражей, была политическая консолидация, в немалой степени построенная на харизматических ожиданиях. Словом, имелись некоторые благоприятные факторы, чтобы придать заряд активности труду в различных секторах производства. Вместо этого последовали оживление мелочной ларьково-мясной деятельности, с одной стороны, и распад структуры промышленного производства, с другой.

Затем уже появились признаки шока, но совсем иного рода: в обществе стала заметна тревога по поводу роста преступности. Синдром страха нарастал, обгоняя процентный подъем криминала по статистике.

Озабоченность, страх, тревога — некие характеристики состояния сознания, но что за ними стоит? Слухи, кампании в СМИ, реальные процессы в уголовной сфере, несовершенство систем по борьбе с преступностью? Или все вместе взятое плюс еще некоторый X? Факт остается фактом: если премьер заговорил о вызове криминального мира, брошенном государству, то в данном случае трудно ограничиться лишь ссылкой на особенности массовых панических настроений.

Самое интересное в этом криминальном эффекте дрейфа общественной жизни предстоит еще выяснить. Однако уже весьма достоверно предположение о том, что растет массовое восприятие происходящего как процесса, чреватого несправедливостью, незаконными, преступными результатами, причем преступными отнюдь не в уголовно-правовом смысле, а в морально-нравственном, юридически не определенном значении, что характерно, кстати, для российского менталитета. Люди не столько, к примеру, боятся темных переулков или ужасаются информации о коррупции в госорганах, сколько испытывают Готовность оказаться с большой вероятностью в криминальной ситуации — столкнуться с насильственным, несправедливым действием, внешним произволом. Каждый новый эпизод в общей картине преступлений (например, скандал с финансовыми аферами «Техпрогресса», «Импульс-инвеста» и т.п.) — лишь дополнительная подпитка установки массового сознания на криминальное восприятие реальности.

Вероятно, эффект криминального восприятия не столь всеобщ, как представляется. Однако заслуживает внимания то, что его сила зависит от чувства социальной справедливости, личного правосознания, которые различны у разных слоев общества. Эффект обостряется, когда затрагиваются базисные ценности: нация, семья, собственность, труд, личные права и свободы. В последнее время особенно примечательны стали несоответствия в сочленении форм собственности и труда, расхождения свойственных им тенденций. Здесь не только имеется в виду огромный (по цивилизованным меркам) и резкий разрыв в доходах узкой группы людей и остальной массы. Все чаще для выражения результатов экономических изменений применяются термины «дикий рынок», «рынок-рэкет», «теневая приватизация», «гангстерская экономика», «номенклатурный капитализм», «мафиозный капитал» и т.д., причем подобные слова в ходу у лиц самой различной идейно-политической ориентации. Это уже не только оценочный коммунистический лексикон или метафоры, рожденные кривизной криминального восприятия. Такие характеристики в устах специалистов приобретают вполне операциональное содержание.

Происходит не только сокращение объемов производства, инвестиций в него, но и социальное обесценение живого труда, способностей и подготовки к труду, ломка его нормальной (с точки зрения частного присвоения) мотивационной структуры. Все устремления деятельной части населения сконцентрированы на перераспределении уже созданного, накопленного продукта, на процессах приватизации, где решающим оказываются не экономические правила, не финансовые нормы, а «обходные комбинации», «властно-силовые» приемы дележа. Возможно, обесценение живого труда, т.е. обеднение основной трудовой массы, — наиболее удобное условие для концентрации капитала, однако не это ли рождает ощущение «разграбления государства»?

Есть некоторое родство между отношением к труду сегодня и в послереволюционное время. Строительство Республики труда, предварительно опущенного в условия нищеты и голода, обернулось тогда воцарением жесткой тоталитарной структуры, в рамках которой бесправие, оказалось естественным состоянием человека. Индустриализм социалистической модернизации вырос на опорах насилия, произвола, проявлявшихся прежде всего в разрушении устоявшихся ценностей и норм трудовой деятельности, культуры в широком смысле слова. Именно внеэкономические факторы под маской социалистической закономерности создали особый тип принудительного труда в едином фабрике-государстве.

Своего рода причудливое отражение эти модернизационные начинания нашли в евгенистской программе приобщения к «скотской жизни». Так, А.С. Серебряковский предлагал ускорить выполнение пятилеток за счет генетической селекции населения с применением в массовых зачатиях «искусственного осеменения рекомендованной спермой» [1]. Не менее актуальным выглядело мнение В. Штейна о необходимости завода в России «иностранной интеллигенции для обновления столь потрепанного за последние годы биологического фонда русской культуры» [2]. Реальность не оставляла человеку ничего иного, как переродиться, по выражению платоновского героя, «начисто, вплоть до спинного мозга».

Желание «переродиться» насаждалось идеологией, конечно, не до такой степени примитивно, как в евгенике. В народной массе, оглушенной революционным шоком, еще долго сохранялись представления о честном, достойном труде. И к так называемому кулацкому слою отношение у крестьян отличалось от генеральной линии партии: они считали, что это — передовые пахари, у которых многому можно научиться, а вот бедняк, бедность которого происходит от лени и разгильдяйства, — позор всей деревни [3]. Политика же форсированного строительства опиралась на типичного бедняка, на маргинализованную за годы первой мировой войны, революции, гражданской войны массу, разучившуюся что-либо делать. Этот слой под-

держивался за счет «расказачивания», «раскрестьянивания», люмпенизации рабочих, уничтожения ремесленников и интеллигенции. Отсюда и пафос «трудового героизма» — сказочного труда, не требующего ничего взамен, безмерного, подчиняющегося общей команде-лозунгу. Отсюда и репрессивность, враждебность по отношению к проявлениям свободного труда, основанного на личных потребностях и интересах.

Сталинская модель форсированного развития предполагала наращивание объема «серьезных жертв». Но готовность народа на длительные жертвы вызывала и в то время сомнения; появился тезис: «репрессии в области социалистического строительства являются необходимым элементом» [4]. На многие годы растянулась практика «перековки» человека в труде, криминальная по существу и оправданная идеей борьбы с врагами народа. Сознательно «сверху» закладывался новый социальный тип работника — «враг народа», в труде которого была заинтересована тоталитарная система.

По существующим оценкам, в лагерях в разное время находилось от 10 до 15 млн зэков, в частности, на момент смерти Сталина — 12 млн человек, или 1/5 всех занятых в материальном производстве. Если добавить еще 35 млн прикрепленных к земле, крестьян — 3/5 занятых, условия жизни и труда которых не отличались от лагерных, то получается, что 4/5 всей трудоспособной части населения было уравнено с уголовный элемент [5]. Погружение народа в уголовно-лагерную среду называлось исправительно-трудовой политикой. Это была невиданная ранее в истории система получения дешевой, мобильной, безгласной, бесправной рабочей силы для осуществления «социалистической модернизации». Перековка человека в лагерном труде обростала изощренной методикой и далеко идущими проектами. Труд зэков, по словам А.Я. Вышинского, труд-чародей, «который из небытия и ничтожества превращает людей в героев» [6]. Соответственно лагерная организация переносилась и на свободу: введение смертной казни или десятилетней каторги за хищение колхозного добра, тюремное

наказание за сбор колосьев на полях (1932 г.), предание суду рабочих и служащих за три прогула в месяц (1938 г.), а затем и просто за небольшие опоздания (1940 г.), запрет переходов по собственному желанию с одного предприятия на другое (1940 г.), почти полное ограничение всякой свободы передвижения у колхозников, лишенных общегражданских паспортов, тюремное наказание учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение школьной дисциплины и самовольный уход из училища [7].

Было бы наивно искать строгих аналогий в истории. Да и суть вопроса не в этом. На мой взгляд, сегодня вольно или невольно складывается ситуация, когда народ России вынужден жить и трудиться в криминальной атмосфере. Это, конечно, не сталинская лагерная среда, но условий для «криминальной свободы», пожалуй, больше, чем достаточно. Неужели модернизационные процессы у нас обречены на эффект криминального причастия, когда трудовая деятельность по сравнению с уголовной принижена, лишается привлекательности, нормальной мотивационной основы, статусности? Оправдывается ли это желаниями форсированной модернизации, накопления и концентрации капитала, интересами бюрократии? Из истории известно: Рим погубило многое, но главное — презрение к труду. Не повторим ли мы ошибки прошлого?

ЛИТЕРАТУРА

1. Медико-биологический журнал. 1929. № 5. С. 16.
2. Вестн. литературы. 1922. № 2—3. С. 5.
3. Деревня при нэпе. М., 1924. С. 23, 27.
4. *Сталин И.В.* Соч. Т. 12. С. 309.
5. *Шмелев Н., Попов В.* На переломе: перестройка экономики в СССР. М, 1989. С. 88—89.
6. От тюрем к воспитательным учреждениям. М., 1934. С. 10.
7. Уголовный кодекс РСФСР. М., 1950. С. 157—184; *Курицын В.М.* 1937 год и история советского государства // Сов. государство и право. 1988. №2. С. 113.